

Мой отец был родом из семьи первых амурских переселенцев. Он говорил, что русские всегда селились в стороне от нанайцев. Действительно, села не смешивались. Пермское и Дзёмги, Троицкое и Джари и многие другие села стояли рядом. И семьи не смешивались. Первые переселенцы объясняли это различиями веры, более поздние — различием нравов. Случаи, когда нанайец брал в жены русскую, были. А вот русские нанайцев в жены не брали. Несмотря на советскую пропаганду дружбы народов, дурная слава о нанайках как о женщинах вздорных, злопамятных и не умеющих прощать тянется более ста лет. Нанайцев же возмущали принятые среди русских разводы. Так как у амурских аборигенов и при советской власти практиковалось многоженство, то бросить жену у них считалось подлостью. Ну надоела старая жена, возьми вторую, молодую, но зачем же бросать первую? Что ей одной делать? Кругом тайга. Конечно, многое изменилось и меняется, но когда тридцать пять лет назад я женился на нанайке, многие и с той, и с другой стороны восприняли это как пьяное хулиганство. А вот когда я попал служить рядом со своей новой родней, то уже я воспринял это как редкое невезение.

В военном городке недолго удивлялись странной паре. Молодая нанайка сразу же проявила удивительные способности в традиционном занятии офицерских жен, а именно в неумоимом шнырянии по всем трем поселковым магазинам в поиске бесполезного тряпья и его скупке; офицерши очень быстро приняли ее в свою веселую, ненасытную стаю. Лейтенант вообще не выделялся, разве что излишней стропитивностью и неумеренностью в спиртном, за что и был доброжелательно принят в офицерскую среду. В армии электриков всегда не хватало.

С новой родней оказалось и труднее, и опаснее. На первую встречу я вышел один. Тесть Гоша жил в городе и повез меня на лодке к своей матери в деревню. Он не был многословен. За всю дорогу он произнес только одну фразу: «Тебе что, русских баб мало?» Начало не предвещало ничего хорошего. Действительно, когда собралась родня, над праздничным столом нависла какая-то неловкая, недоверчивая угрюмость. Обстановку неожиданно разрядила Эне, бабушка жены. Простодушная старушка появилась в дверях с ружьем, щелкнул ржавый курок.

— Сейчас Саска убивай буду!

— Да брось, бабка, давай лучше выпьем, — мужественно встретил я свой последний час.

— А, боялся, боялся. Моя Саска напугай, — обрадовалась Эне и бросила ружье. Ружье оказалось настолько старым, что уже не переламывалось. Единственной частью, которая двигалась, был ржавый курок. Эне, довольная тем, что ее внучка вышла замуж, напилась на радостях, потом стала браниться с мужем-корейцем на всех известных ей языках. Дед Ким был ее вторым мужем и отчимом Гоши.

— Саска — солдат, — одобрительно сказал он мне сразу. — Я тоже солдат служил.

— Где же ты, деда, служил?

— Кавантунская армия служил, семь лет служил.

Старики разошлись не на шутку. Дед больше шипел корейские ругательства, бабка что-то очень выразительно верещала по-нанайски, и все это они перемежали тяжелым русским матом. Вдруг скандал прекратился и старики ни с того ни с сего пошли ставить перемет. Мою помощь отвергли, объяснив, что сделают это лучше. Причем из всего сказанного печатным было только слово «моя». Действительно, лодкой Эне владела мастерски, а плавать, как оказалось, не умела. Привязали они с дедом к проволоке двадцать крючков с поплавками и кусочками клеенки вместо наживки. Под утро Эне давай меня трясти:

— Саска, перемет проверял?

— Ничего не проверял, ночь еще.

— Проверял, проверял, рыба убегаля, — толкает Эне.

Я с трудом поднялся и при свете зари поплыл на перемет. Снял с двадцати крючков четырнадцать верхоглядов.

— Не убегаля? — спросила Эне.

— Ни один не сорвался, — я уже стал понимать ее манеру говорить.

Эне выбрала трех толстых рыбин на талу. Чем они отличались от других? Я так и не смог понять. Между делом Эне принесла газетный лист, велела мне наступить босой ногой и обвела карандашом. На следующий день у меня были *докто* — стеганые толстые носки. Очень онигодились мне зимой. Простеганы докто были как-то необычно — по спирали. Потом я узнал, что это типичный орнамент времен неолита.

Эне с дедом недавно купили старенький домик за утесом, и мы ходили его штукатурить. Я делал проводку и стеклил окна, окучил картошку. Эне не могла на меня нарадоваться. Ходили мы через лес и пионерлагерь. «Зеленый патруль» поднимал шлагбаум, и удивленные пионеры сбегались посмотреть на странную процессию: впереди Эне в национальном расшитом халате, в тапках, как у старика Хоттабыча, с загнутыми носами, и с обязательной трубкой во рту. За ней офицер, расстегнутый на все пуговицы, в кедах и с корзинкой, откуда торчал рыбий хвост, и братишка с ведром и кистями.

— Салют, пионеры! — Бачигоапу!

Свозил нас Гоша на лодке в деревню, где он родился и вырос. По дороге оставались, искали и приглашали родственников, желающих поехать в старую деревню на кладбище. В каком-то одичавшем селении, где все жители (человек пять) таскали с баржи в магазин мешки с солью, Эне потребовала водки. Ей объяснили, что магазин закрыт, продавщицы нет и водкой в воскресенье торговать запрещено.

— Моя могила ехаль, — возмутилась Эне, — как без водка ехаль? Водка давай, десять бутылка давай.

— Да куда столько, Эне?

— Могила выливай.

И ведь дали. И продавщицу нашли, и склад опечатанный открыли. Тогда еще уважали традиции и старших больше, чем слабоумные указы.

В старой деревне не было домов, только кладбище. Побывали на одном, поправили могилы, пошли в другое место, там тоже кладбище. Могила шамана почему-то забита досками. Эне разложила закуски на могилах и каждую полила водкой, особым способом опрокидывая бутылку через наружную сторону кисти. Живому наливают по-другому, к себе, во внутреннюю сторону кисти. Всем вы-

пивки хватило. Эне уснула на носу лодки, и шторм ей был нестрашен. Какого-то дядю, не помню уж имени, Гоша заставил нас с братишкой отнести домой и сдать родственникам. По доброй народной традиции — положи, где взял. Дядя жил в большом доме из бруса и внутри оборудовал что-то вроде палатки или фанзы из ширм. Говорили, что он вообще не нанаец, а китаец, только в этом не признается. Эне проснулась и сокрушалась: «Водка пиль некому, вся могила вылил. Ладно, покойник рад был».

Кончился мой короткий отпуск, и я уехал. Мы строили БАМ. Вот уж собралось народу! Всякого разного. Тут и до нашествия жили туземцы разных национальностей, бандеровцы и бывшие зэки первой бамовской волны, позже сюда сослали маньчжурских староверов. А теперь появились и мы: солдаты, энтузиасты и рвачи. Люди разные, а жили по теперешним меркам мирно. Но перенимали друг у друга почему-то самое плохое. Туземцы пропивали колхозную рыбу, староверы напивались и скупали краденый бензин, даже, что уж совсем необычно, мне приходилось во время дежурства выгонять из казармы староверских дочек. Так они сами себя называли. Не было дружбы народов, но не было и вражды. Не было газетного энтузиазма, но была тяжелая и бестолковая работа. Был один общий интерес: скорее бы все это кончилось. Потом каждому будет лучше. Кто-то вернется домой, кто-то получит желанный «Москвич». Кто-то должность и теплое место «на Западе». Кто-то вывезет краденое, а кто-то дождетя, когда это нашествие наконец-то кончится и можно будет жить как прежде, но уже с поездами. Было трудно, обидно, но весело.

Электрохозяйство досталось мне в таком запущенном состоянии, что два года священного долга прошли как один мрачный кошмар. Прибыл, убыл, а между — какая-то сплошная метель, обмороженные ноги, обожженные руки, каждый день аварии. И страх. Постоянный изнуряющий страх. Или тебя током убьет, или твоего подчиненного, а тебя посадят, или сторгит чего и опять же посадят. Не разгильдяю, не дураку и не окончательно спившемуся трудно на такой стройке.

Но в каких чудесных местах все это безобразие происходило! Как светлые праздники и лучшие минуты жизни вспоминается рыбалка на горной речке. За два года всего несколько раз. Ленюк вылетает из лунки, дергается — и уже ледышка. Снег по берегам выше головы. Толстый слой инея на телогрейке и рукавицах. Глухомань, тишина, невозмутимость. Если лечь на снег и заглянуть в лунку, видно, как ленок подходит к мормышке. Он не знает, что совсем рядом стройка века и что его съедят в виде талы.

— Твоя пешня совсем тупая, — говорит дядя Петя. Он единственный из моей нанайской родни, кто выговаривает «ш». Петро нагревает пешню в костре и направляет на камне топориком. Классная работа. А как он разжигает костер! Я на морозе строгою палочки, бережно все складываю шалашиком, долго жду, пока разгорится. Петро же сгребает что под руку попало, бросает туда спичку, и костер полыхает. Что за чудеса?

— Вот какие чудеса, — показывает он карман, набитый берестой, — всегда с собой.

Дядюшка был профессиональный сезонный рабочий. Таежный бич. Когда-то это звучало уважительно. Настоящий таежный сезонник водит любую технику, не боится тяжелой работы, вынослив, неприхотлив и, как ни странно, чистоплотен. По случаю зимы Петро отдыхал и был перманентно пьян. Он привез с собой полную сумку одеколону и тайно его употреблял, наполняя отвратительным ароматом весь барак, и изгадив все кружки в нашей комнате. В порыве теплых рождественных чувств Петро решил починить детскую кроватку. Не найдя подходящего болта, он оторвал его от соседского сарая вместе с замком, а в ответ на протесты хозяина заявил: «Это для ребенка». Хозяин сарая был большим начальником. Чинопочитание

чуждо офицеру-двухгодичнику, но и обижать соседа нехорошо. Петро напряженно пытался понять эту простую мысль. Потом сказал: «Пусть подавятся, для ребенка гайку пожалели».

Только очень мужественный человек не дрогнет и не отступит, столкнувшись с дядюшкой в темном коридоре барака. Атлетическая, прекрасная пропорциональная фигура и удивительное, фантастически карикатурное лицо. Не просто плоское, как у многих тунгусов, но скорее вогнутое по-научному — «отрицательный угол лица», с выпирающими скулами, носом-картошкой и оттопыренными ушами. Да еще и черное. В пятьдесят лет пора бы и свыкнуться со своей необычной внешностью. Петро мучился. И не столько из-за своего причудливого облика, сколько из-за резко выраженных расовых признаков. С детства он мечтал стать русским, подделывал и даже покупал паспорта, однако все это было бесполезно. Его разоблачали, наказывали и снова вписывали строку: «нанаец». Дядюшка пропил все права на технику, его не брали в колхозе даже на подсобные работы, но своей мечты он не оставил. Петру удалось устроиться в леспромхоз. «За неимением хорошего человека, меня поставили бригадиром», — написал он Гоше.

Потом Петро появился летом, в день солнечного затмения. После обеда, когда дядюшка наполнил барак зловонными одеколонными парами, а я объявил, что через полчаса в честь высокого гостя начинаю затмение, Петро вышел и как бы случайно оставил на столе раскрытый паспорт. В графе стояло: «русский». Сбылась мечта лесного бродяги! Надолго ли? Я ушел на службу, а он сидел на завалинке и щурился на солнце. Счастливый узкоглазый черный русский. Затмение не было полным. Наступили сумерки, но яркий ободок продолжал сиять на похолодевшем небе.

Кончились мои два года, и я собрался домой. Заехал в деревню проститься с родней. На скамеечке сидела беспомощная старуха в нанайском халате с нашитыми медными бляшками, с бронзовыми браслетами, вросшими в руки и ноги. Когда старушка двигалась, от нее исходил тяжелый запах и мелодичный звон. Она показалась мне знакомой. Где-то я уже видел это вогнутое лицо, выпирающие скулы.

— Это мать Петра, она не говорит по-русски. Совсем беспомощная. Под себя ходит, — объяснил Гоша. — Ты слышал, Петро повесился. Жить ему, видишь, стало незачем.

— У Петра вроде есть взрослые дети. Что же не возьмут бабушку к себе?

— Водка дай, — сказала старушка и зазвенела побрякушками.

— Зачем внукам нанайская бабка, — продолжал Гоша, не обращая на нее внимания, — они теперь русские, в городе живут. Да и она не очень о внуках заботилась, все по интернатам.

Мы молча наблюдали, как от соседнего дома сползло по галечному откосу пьяное семейство. Впереди — бабушка, за ней взрослые дети, за ними пьяные внуки лет пяти. До реки не дошли, уснули на откосе. Сколько я этой жидкости выпил, а оказывается, не знал, как выглядит злоупотребление.

— А имя мое не Георгий, — сказал Гоша, — меня зовут Госан, это кол для сетки, в озере ставят. Так по-русски записали Госа — Георгий. Вот когда рыба идет, так все нанайцами становятся, нормовую рыбу получать, а потом опять русские.

Сказал все это Гоша и посмотрел на меня странным взглядом. Нехорошо так посмотрел. Где же я видел такие глаза? Точно видел. Не могу вспомнить.

Что-то не так, может, не туда мы строили дорогу? Может, от нее вреда больше, чем пользы? В чем моя вина? Почему московские чиновники смотрят на приехавших сюда жить и работать как на неисправимых вахлаков, а приехавшие смотрят на местных сверху вниз, а местные изгаляются над инородцами? Разве чище станешь, если ткнешь другого в грязь? «А-га-га, узкоплечные!» — радостно кричит, высунувшись из кабины, молодой солдат. Он едет мимо одинокого дома

связиста эвенка. Чего орет, дурак? Знает ли он, сколько таких парней выручил хозяин дома у дороги? И этот странный взгляд Госы. Беспомощный и отчаянный, злой и жалобный одновременно. Вот где я его видел! На охоте. На тропинке лежала енотовидная собака. Зверек где-то сорвал капкан, но у тропинки зацепился тросиком за пенек. Он вырвал всю траву вокруг, разрыл землю и лежал обессиленный, положив мордочку на лапы. Он спокойно смотрел в глаза своей смерти. Взгляд загнанного зверька говорил: «Что хочешь, то со мной и можешь сделать, я готов».

Давно это было. Многие изменилось. Но все эти годы, когда я видел нанайцев, пляшущих и стучащих в бубны, поющих песни про оленей, одетых в национальные одежды, или телеведущих, читающих по бумажке нанайские слова с ужасным русским акцентом, я вспоминал одну и ту же картину. Нет, не покойного, поспешно обрусевшего дядюшку, не пьяных ребятишек, ползущих по откосу, не беспомощную брошенную старушку-колокольчик. Так и стоит перед глазами: братишка отталкивает лодку, я уезжаю домой, а на галечной косе среди пятен мокрого снега стоит и плачет сгорбленная Эне, сестренка в несуразных огромных сапогах машет рукой. Они остаются. Они не поют народных песен и не пляшут с бубном. Они там живут. Исчезающий народ. Не редкий материал для ученых специалистов и не яркая приманка для богатых туристов. Мои братья и сестры. Не младшие и не старшие. Не большие и не меньшие. Такие же, как я, как и все мы. Мои родные.

Оно, конечно, все люди — от Адама, но Бог не захотел, чтобы все были одинаковыми, и уже первые дети Адама с камнями в руках выясняли, на кого из них «Господь призрел». И вдруг святой Петр сказал: «Мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым», — и, нарушив иудейский запрет, пошел в гости к иноплеменнику Корнилию. Петра давно уже нет, но пример его — всем нам укор.

